

Владимир Гиляровский

# Фогабал



Часть сборника  
*Москва и москвичи (сборник)*



Москва и москвичи // Эксмо, М., 2008

ISBN: 978-5-699-11515-0

FB2: "shum29" <au.shum@gmail.com>, 15.11.2008, version 1.0

UUID: d82b3309-04a4-102c-99a2-0288a49f2f10

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

# Владимир Алексеевич Гиляровский

## Фогабал

(Друзья и встречи)

«Холодно. Побурела трава на опустелом ипподроме. Ни дверей, ни окон у остатков каменных зданий... Прежде отделялось высоким забором от Ходынского поля здание на дворике, где взвешивались на скачках жокеи, и рядом стоял деревянный домик смотрителя круга. Кое-что осталось от садика перед домиком, забор и загородка садика уничтожены, и из окошек домика открывается вид на голое Ходынское поле и Ваганьковское кладбище. В домике живет семья... Голодает, холодает...»

# **Владимир Гиляровский Фогабал**

Холодно. Побурела трава на опустелом ипподроме. Ни дверей, ни окон у остатков каменных зданий... Прежде отделялось высоким забором от Ходынского поля здание на дворике, где взвешивались на скачках жокеи, и рядом стоял деревянный домик зрителя круга. Кое-что осталось от садика перед домиком, забор и загородка садика уничтожены, и из окошек домика открывается вид на голое Ходынское поле и Ваганьковское кладбище. В домике живет семья... Голодает, холодает. Дрожит ночью, когда идут мимо толпы бесприютного и бродяжного люда, но как-то ее никто не трогает – должно быть, сразу видно, что взять нечего. Жильцы флигелька вынесли октябрьскую бомбардировку, когда из Ходынских казарм слали снаряды в Кремль, и на следующий год ночной пожар скаковых трибун рядом с их жильем, от которых остались эти «железные удавы» – куча изогнутых от жары рельс и балок.

Сегодня, гуляя по оголенному осеннему парку, я прошел сюда, на самую середину круга, – и воспоминания роятся и свертываются в клубок, и яркими гирляндами и живыми цве-

точными клумбами рисуются пять этажей трибун, полных в день дерби летними платьями дам, огромный партер вдоль всего этого ажурного железного здания, которое ни с какой постройкой и сравнить нельзя... Ну, а с чем можно сравнить «ирландский банкет» посредине? Это головоломное препятствие, на которое решались скакать только самые отважные спортсмены! Он такой же, как и был. Высокий вал между двух широких канав. Лошадь скачет сначала через одну канаву на гребень вала, а с него уже вторым прыжком берет вторую канаву, за два раза перепрыгивая в ширину более семи метров и всегда теряя около минуты на этом препятствии. Нередко на нем ездоки и кости ломали и лошади калечились.

Еще в те дни, когда существовала деревянная беседка, в день розыгрыша самого почетного приза разыгрывался однажды стипльчезный приз с «ирландским банкетом». На последний записалось трое известных победителей на скачках с препятствиями. Все трое – гвардейские офицеры из Петербурга; четвертым записался совершенно неожидан-

но совсем молодой офицер, улан, младший брат скаковых коннозаводчиков Евгения и Сергея Ильенко – Иван. Он скакал на лошади, им самим выездженной и тренированной одновременно для скачек и для службы в полку.

Прозвучал звонок к стипльчезу. Со старта выделился ротмистр К. на своем выводном крэке. Взял три зеленых барьера на дорожке и понесся внутрь круга, корпусом в пяти впереди всех, на «банкет»... Трое соперников почти голова в голову скакали вслед за ним. Вот его белый китель мелькнул на мгновение на валу «банкета», чтобы тотчас появиться на другой стороне второй канавы и легко уйти от конкурентов, которые еще должны были остановиться на вершине вала перед вторым прыжком. И тут произошло нечто поразительное – все это было делом одного момента. В то время когда вороной конь К-на еще только собирался прыгнуть, трое конкурентов уже подлетели. Страшным посылом Ильенко выбросил своего скакуна, и мимо белого кителя на вороном коне мелькнул белый китель на золотисто-рыжем, который не остановился на гребне вала, а птицей перелетел и обе ка-

навы и вал и очутился сразу впереди вороного на пять корпусов, да так и не уступил ни пяди до самого призового столба. В трибунах творилось что-то небывалое: в момент прыжка раздалось тысячеголосое «ах», а затем такие аплодисменты, каких старая беседка еще не слыхивала.

Через много лет так же аплодировали Гагарину, тоже взявшему сразу обе канавы на полукровной англо-донской кобыле Красивой, и Виллебрандсу на английском стиплере Чатартоне. И больше никогда это не повторилось ни у «джентельменов», ни у жокеев, даже англичан, кстати сказать, весьма не любивших «ирландского банкета».

После этой блестящей победы молодой Ильенко сбросил военный мундир и весь отдался скаковому коннозаводству. По зимам он с братьями работал на Харьковском конном заводе, летом занимал должность старшего члена московского общества и сам, как и его братья, тренировал свою призовую конюшню и писал в спортивных журналах статьи в защиту чистокровной лошади. Он, Иван Михайлович Ильенко, был одним из главных

создателей этих единственных в мире многоэтажных скаковых трибун, которые сейчас вот лежат передо мною в виде горы чудовищных удавов, иногда блестящих, иногда матовых, с кое-где проступившими кровавыми пятнами ржавчины...

Я присел на выгнутую, скрюченную пылом пожара рельсу и задумался. Вот вижу сквозь ажурные рельсы человека, выходящего из флигелька. Он, опираясь на палку, устало двигается к развалинам трибун. На нем короткий нагольный полушубок, какие носят в кавалерии конюхи, и защитная фуражка с красной звездой; седая борода гвоздем, седые усики... да это Ильенко?

Да, это Иван Михайлович Ильенко. Это его семья обитает здесь. Он остался верен скаковому кругу: во время немецкой войны он бросил скачки и ушел к своему старому товарищу генералу Брусилову, был с ним в боях до конца кампании, потом вернулся в этот убогий флигелек к семье, а при советском правительстве его снова пригласил Брусилов на работу по коннозаводству, был он полезен государству знанием дела до тех пор, пока, нако-



нец, по болезни не оставил службы персональным пенсионером и не кончил жизни рядом с «ирландским банкетом».

Я вышел на скаковую аллею, вдоль проезда между шоссе к трибунам и почти против маленького домика, где много лет жил секретарь скакового общества Н. П. Лебедев, и здесь увидал... и опять поразился – уж очень не ко времени было то, что я увидел: передо мной появился человек в длинном черном, еще недавно модном сюртуке с разрезом сзади и в цилиндре!

Все что угодно я мог ожидать, но цилиндр на четвертый год революции, да еще сюртук-редингот! По всему видно было, что человек этот гулял: и по спокойным движениям, и по сложенным назад рукам с тоненькой тросточкой. Легкий ветерок раздувал его огромные светлые усы. Взглянув на них, я сразу узнал его:

– Иван Иваныч!

Это был редкостный тип, который мог создаться только в купеческой Москве, только в ее веселящемся кругу мог жить, наслаждаться, кушать самые изысканные блюда, посе-

щать театры, ежедневно слушать хоры в лучших загородных ресторанах и присутствовать на ипподромах, не пропуская ни одного скакового или бегового дня, и при этом никогда он, единственный, не поставил ни одного рубля в тотализатор, потому что никакой игры не любил, – это, во-первых, а во-вторых, никогда почти у него этого рубля и в кармане не было.

А между тем он всегда одевался у лучших столичных портных Сиже и Жоржа, цилиндр носил только от Вандрага и всегда самого последнего фасона. Не признавал он пиджаков и визиток, а неизменно, зимой и летом, был в модном сюртуке, прекрасно сидевшем на его плотной фигуре с округлым брюшком и являвшемся лучшей рекламой для портного. Поверх этого сюртука – тоже всегда, зимой и летом, – пальто из легкой материи и затем желтые лайковые перчатки. Ни в какой мороз он не застегивался, уши и лицо его, всегда румяные, не признавали мороза – и так он ходил, бывало, в открытом партере зимних бегах, и к нему в антрактах то и дело подходят люди в лисьих шубах, бобровых воротниках и

собольих шапках, что-то шепчут, исчезают и вместе возвращаются на свои места, прожевывая закуску и еще более раздумывая. В свою объемистую утробу Иван Иванович мог поместить невероятное количество всяких вин, в состоянии был пить иногда круглые сутки, перепить и уложить в лоск несколько кутящих компаний, а сам, что называется, ни в одном глазу – только лицо становится еще краснее. И таким я видел его десятки лет в Москве, неизменно здоровым и жизнерадостным. Годы от него как-то отскакивали, не оставляя никаких следов, светло-русая голова его по-прежнему была без одного седого волоса, как и огромные выхоленные усы, за которые, да и за всю фигуру вместе звали его Фарлафом.

– Ты совсем Фарлаф, Иван Иванович.

– А что такое Фарлаф? Что это, едят? – спросил на бегу за завтраком купчик из Таганки, единственный наследник умершего миллионера, одетый в лисью шубу.

– Вот и я такой же дурак был, как ты, пока уму-разуму люди не выучили, – строго сказал ему Иван Иванович и сразу смягчил: – Это из

оперы.

– Я в театре еще отродясь не бывал, тятенька был строгий, меня никуда не пустил из дома...

– Ну, ладно, пойдем сегодня в театр. Отсюда поедem к Тестову, а оттуда в театр, как раз Фарлафа увидим.

– Что же? Покорнейше благодарим, я с нашим удовольствием... Надо мною старших те-перича нет...

И у Ивана Иваныча явился новый воспитанник, за образование которого он с этого дня, к великой радости молодого купчика, и принялся.

– Облома обламываю, – рекомендовал он своего воспитанника близким друзьям.

На другой день он повел купчика к Сижке, где заказал модное платье, и к Михайлову на Кузнецкий мост, где купил пальто на хорьковом меху с бобровым воротником, потом – обедать в Эрмитаж, а вечером слушать цыган у «Яра». Воспитание началось. Купчик в восторге тратил деньги на кутежи, но Иван Иваныч ни разу не попросил взаймы – он зная, что этого купец боится: пей, ешь, что хошь, а

денег попросить нельзя, скажет – объегорить хочешь. И никогда Иван Иваныч не занимал денег у своих клиентов, он получал проценты с Сиже, с Михайлова, с Хлебникова, с ресторанных счетов. На это он одевался и платил за квартиру, катался как сыр в масле, а денег карманных больше красненькой или четвертной на извозчика и на чай у него никогда не водилось. Бывали случаи в начале этой его профессии, после кутежа, когда какой-нибудь таганский оболтус, заплатив огромный счет у «Яра», бросал сотни три хорам, он пробовал просить:

– Сидор Мартынович, дай мне сотенку, надо за квартиру платить.

– Чего? Ну, брат, на эту удочку меня не пымаешь. Пей, ешь, сколько влезет, а сухими ни-ни. Лучше и не заикайся, если хошь компанию со мной водить.

А все-таки купцы лезли к нему, и пообедать и доужинать с Иваном Иванычем считалось чуть ли не за честь. А главное – он умел заказать, и важные метрдотели у «Яра» или в «Стрельне» подобострастно выслушивали его заказы – уж очень хорошо он гастрономию

знал.

Иногда, когда кутила компания купцов, понимающая толк, то в отдельный кабинет, где сервировался обед или ужин, являлись: в «Стрельне» сам Натрускин, а у «Яра» сам Апельсин – так все звали хозяина этого ресторана за его круглое, чисто выбритое лицо, действительно цвета почти что апельсина-королевка.

И оба эти владельца ресторанов дивились его уменью заказать самые дорогие кушанья и назвать номера вин всех фирм без ошибки, не глядя в прейскурант, а также и особо дорогие вина из погреба этих ресторанов.

– А вот у вас, Иван Федорович, не осталось ли бутылочки сухой мадеры Серцеаль, которую вы купили после Кузнецова Александра Григорьевича из его собственных садов на Мадере?... Я помню, в прошлом году вы удивили нас с Голицыным.

– Как же-с, Лев Сергеевич заплатил мне за три бутылки и велел оставить их на текущем счету.

– Да... да... триста рублей, кажется, вы с него взяли.

– Помилуйте, Иван Иванович, разве это много? Ведь я сам купил из погреба наследников дюжину за восемьсот рублей, насилу выпросил. Две бутылки остались только. Берегу как зеницу ока.

– Тащи их сюда. Чего там говорить!

– Одну-с, Иван Иванович, дам, одну уж позвольте оставить.

– Тащи обе... Одну с собой возьму – мне можно только сухое вино.

– Слушаю-с... А свой салат к индейке вы сами, конечно, приготовите, Иван Иванович?

– Просим, просим! – в один голос зашумела вся компания богача Сумского, сахарозаводчика, большого гурмана и гурмана-мученика вместе с тем: он страдал сахарной болезнью, но иногда рисковал кутнуть и всегда уже в таких случаях приглашал Ивана Ивановича – тот знал, что ему можно и чего нельзя.

Так жил и блаженствовал десятки лет этот купеческий арбитер, элантиарум [1] купеческих кутил.

Я помню его с 1876 года. Он бывал в Артистическом кружке с Сережей Губониным и тогда еще имел торговлю в городских рядах, где

над магазином шелковых изделий красовалась вывеска: «Рошфор и Емельянов». Рошфор был француз, Емельянов – коренной москвич, отец Ивана Ивановича. Последний, еще двадцатилетним малым, сперва ходил в картузе и поддевке, по-купчески, раза три со стариком Рошфором ездил в Париж за «модьем», но после третьей поездки, продолжавшейся около двух месяцев, так как Рошфор там с месяц прохворал и месяц отдыхал после болезни, вместо «Ванятки» в картузе бородатый, в долгополом сюртуке родитель увидел своего единственного сына франтом, одетым по последней моде и причесанным а-ля Капуль, в желтых перчатках и цилиндре. А когда отец по обыкновению повел его завтракать в «Дыру» под бубновским трактиром, то сынок предложил отправиться наверх в парадные бубновские залы и там, призвав хозяина, стал ему заказывать такие блюда, что тот глаза вытаращил, а отец рассердился, сказал ему: «Лопай сам» – и ушел в «Дыру» хлебать солянку из осетрины и есть битки в сметане.

С тех пор Иван Иванович уже не снимал с себя цилиндра, а когда я поселился в Москве в



88-м году, то у него уже не было никакой торговли. После смерти отца Рошфор выставил его из своей фирмы, но он не унывал и стал появляться у «Яра» в компании своих друзей-купцов, которых раньше он угощал и которые теперь угощали его, преклоняясь перед его умением устраивать пиры.

И вот этот самым Иван Иванович сейчас быстро обернулся и, перехватив палку в левую руку, заторопился снять перчатку с правой и веселым взглядом приветствовал меня.

Чисто выбритый, ухоженные усы, те же огромные, шелковистые, без единой сединки, цилиндр слегка набекрень, как и прежде, и неизменный, так недавно еще модный сюртук, залоснившийся и вытертый, но без пылинки, сидевший теперь на нем, как на вешалке. От чичиковской округлости брюшка и следов не осталось, и не было полноты румяного лица, слегка побледневшего, но еще свежего. Это был на вид так мужчина лет сорока пяти – пятидесяти.

– Гуляете? – относя в сторону во всю длину руки цилиндр, улыбнулся он.

– Да, засиделся в городе, за три года пер-

вый раз решил в парк пройти.

– И прямо сюда пришли? Знать... Невольно к этим грустным берегам... и вас влечет неведомая сила? – закончил он. – А я здесь каждый день гуляю... Да идти-то мне... помните, как у Достоевского Мармеладов говорит: идти некуда. А сам пошел в пивную... А теперь и пивных нет... Вот мне так идти действительно некуда. Тетка у меня на Якиманке была, распроединственная моя родственница – да и та пропала без вести... Женат я не был, старые друзья по пьяному делу смыты, «кого уж нет, а те далече». Спасибо, еще управляющий домом, где я тридцать лет живу, там, на Башиловке, дал мне комнатуху, заваленную книгами... Живу в ней и перечитал всех классиков, о которых прежде и понятия не имел. Знал, что есть Пушкин, потому у «Яра» в Пушкинском кабинете его бюст стоял. Вот встану, попью вместо чаю кипяточку с черным сухариком, почищу цилиндр, их у меня три осталось, вычищу сюртук, побреюсь – каждый день для поднятия духа бреюсь, – а потом сюда гулять...

Я слушал и не знал, что сказать.

– Пережил всю революцию, пожаром трибунов всю ночь любовался...

– А отчего они сгорели?

– Кто знает? И спросить некого... Э, да что и говорить. Ведь мне под семьдесят, а ни одного седого волоса, никаких катаров не мог напить... И в довершение всего аппетит, как и прежде, прекрасный, а есть нечего.

Во время этого разговора мы дошли до бульвара и сели на уцелевшей лавочке против бывшего «Яра». Я вспомнил, что у меня в кармане большой кусок прекрасного швейцарского сыра, который по дороге сюда я купил у кого-то из-под полы на мосту у вокзала.

– Да-с, Владимир Алексеевич, все кончилось. Кончились «Яр», «Мавритания», «Стрельна»... все... все... А без них и я кончюсь... Хоть бы чем-нибудь их вспомнить, а там хоть и умирать.

– Ну что же, вспомним! Видишь, Иван Иванович? Ну-ка, понюхай!

Я вынул из кармана чуть просалившуюся от слезки бумагу с куском сыра и поднес к его носу. Он с удивленным видом откинул голову, так что цилиндр чуть не слетел, и вос-

кликнул:

– Швейцарский сыр! А у меня ножик есть.

Он вынул обломок ножика и подал мне. Я развернул сыр и отрезал ломтик.

– Да разве так можно? Что вы!

Он быстро снял обе перчатки, сунул их в карман и заявил:

– Руки у меня чистые.

Он взял у меня нож и сыр. – Грех такое добро портить. Может быть, да и наверняка, пожалуй, я такой сыр в последний раз ем, так позвольте уж...

И он начал резать тупой стороной ножа, и сыр свертывался в трубочку, становился ароматным, пушистым, мягким и таял на языке.

– Такой сыр не режут, а гофрируют.

Он священнодействовал, и мы молча съели треть куска.

– У-ух! Вот отвел душу. Жаль, что хлеба нет.

Он передал мне кусок сыру, я разрезал его пополам, завернул в бумагу и один кусок положил себе в карман, а другой отдал ему.

Он поблагодарил меня, взял нож и свой сыр разрезал на две равные части, одну поло-

вину нарезал ломтиками уже острием, завернул и положил в один карман, другую в другой.

– Зачем вы его так нарезали?

– Ничего, он и так съест, он гофренья не поймет.

– Кто?

– Фогабал. Вы помните его?

– Еще бы! Ильенковская лошадь.

– Да не лошадь, а гимназист – Фогабал.

Да, я помню и гимназиста Фогабала.

Я видел его и в гимназическом пальто, и в щегольском костюме на скачках, и оборванцем в «Перепутье».

«Перепутье» – это был трактир против «Яра». В «Яре» кутили богатые спортсмены, а «Перепутье» в дни бегов и скачек и накануне их был всегда переполнен играющими. Они перед состязанием являлись сюда, чтобы узнать шансы фаворитов у жокеев, наездников и «жучков», отмечали «верную лошадку» и нередко угадывали, а больше жульничали. В числе «жучков» помню я высокого бледного, волосатого блондина, с зари дежурившего на ипподроме и следившего за проездкой ло-

шадей. К концу состязаний он всегда бывал пьян, но лошадей знал хорошо, и его отметкам все верили.

Никто не знал его настоящего имени, и он откликался на Фогабала.

– Милый Фогабаллушка, отметь афишечку.

Этот полупьяный оборванец сыграл громадную роль в истории спорта: обе роскошные трибуны выстроены благодаря ему.

Скачки и бега на Ходынке существовали с половины прошлого века. Бега тогда разыгрывались еще по трем дорожкам: каждая лошадь бежала по отдельной. Посещали ипподром только настоящие охотники, любители лошадей, да в праздничные дни приезжали немногие москвичи подышать свежим воздухом и полюбоваться зрелищем.

Так и перебивались с хлеба на квас оба императорских общества: скаковое – дворянское и беговое – купеческое. Сборы были нищенские и призы только для почета.

В конце семидесятых годов секретарь Московского скакового общества М. И. Лазарев за границей познакомился с тотализатором и ввел его на скачках. Первое время билеты бы-

ли только рублевые, лошади скакали по две, по три, редко по пять. Игра не шла потому, что увлекающий азарт отсутствовал. В каждой скачке была известная всем лучшая лошадь, которая и обходила легко соперников, а потому и выдавали выигравшим не больше гривенника на рубль.

Двойного тотализатора еще не было.

Когда скакал знаменитый Перкун, выигравший ряд призов в Англии и непобедимый в России, больше гривенника никогда не платили. Да Перкун никогда и не проигрывал.

«Банк, а не лошадь», – говорили расчетливые игроки. Некоторые брали на него билеты десятками, чтобы наверняка, как ренту, получить два-три рубля.

Десять процентов в три минуты: и вход и извозчик оплачены.

Лопнул банк!

Было жаркое солнечное воскресенье во второй половине августа. Нарядная публика разукрасила убогую беседку скачек. Галерея, ложи и ряды деревянных скамеек, поднимавшихся амфитеатром, были заняты аристократической и купеческой Москвой, партер –

спортсменами и франтами в светлых костюмах. Около касс тотализатора публики по обыкновению было мало. Тогда еще игра шла слабая. Самой интересной в этот день была скачка непобедимого Перкуна, с которым скакали три достойных его соперника с лучшими жокеями-англичанами. На Перхуне ехал считавшийся тогда первым жокей Амброз — это окончательно обеспечивало победу Перкуна. На остальных трех, записанных уже не думая о первом призе, только в надежде получить второй или третий, скакали Клейдон, Конер и Шелли. На пятой лошади, принадлежавшей И. М. Ильенко, собственного его завода, Фогабале, скакал только что вышедший из конюшенных мальчиков жокей Воронков. Все билеты в тотализаторе стояли на Перкуна. Публика играла наверняка: лучше гривеник нажать, чем рубль прожить. Нашлись охотники и «резануть», то есть поставить на других лошадей, вернее, на жокеев-англичан, и только в Фогабала, а главное, в жокея Воронкова никто не хотел верить.

— Харьковский хохленок супротив четырех англичан!



Опустил стартер флаг. С места ринулись скакуны, впереди всех Амброз с улыбкой уверенности в своей победе. Иногда он оглядывался на Клейдона и Конера, голова в голову поспевающих за ним. Близко к ним скакал молоденький, розовый, как девушка, Шелли, а сзади, почти в хвосте у него, коренастый Воронков на своем Фогабале, который шел спокойным махом, будто и не участвовал в скачке, а так, для галопа трепался.

В последнем повороте Воронков легким посылом перегнал Шелли и приблизился чуть-чуть к двум соперникам, в хлысте надавшим на Перкуна. Пришлось и Амброзу взяться за хлыст, начали резаться всюю все трое, и все-таки Перкун был на корпус впереди.

И вот Воронков, сохранивший силы, уже перед самым призовым столбом уверенным посылом выбросил своего Фогабала и легко, без хлыста, пришел первым на целый корпус впереди Амброза.

Так с этого дня и осталось прозвище за Воронковым – «хитрый хохленок».

А что было в беседке! И партер, и ложи, и

галерея – все гудело, ругало англичан... Всех и вся поносила неистовая публика. Требовали назад деньги. На Фогабала никто не играл, оказался поставленным билет только в одной кассе, и его взял какой-то гимназист, который не имел понятия о лошадях, а просто подошел, вынул рубль и сказал:

– Дайте номер третий.

Цифра ли ему понравилась, мечтал ли он о тройке за латынь, а получил груду кредиток – тысячу триста девятнадцать рублей на свой рубль, которые он, вытараща от волнения глаза, не считая, рассовывал по карманам своей старой блузы и серого пальто. Счастливица окружили, смущали в продолжение всего антракта, терзали разнообразными вопросами и оставили его, лишь услышав звонок новой скачки.

В следующем антракте его не нашли. Кто он был, никто не знал.

В газетах на другой день была описана победа Фогабала и неизвестный гимназист, получивший за рубль тысячу триста девятнадцать рублей. Даже люди, никогда не посещавшие скачек и не знавшие слова «тотали-

затор», заинтересовались, конечно, не лошадьми, а возможностью выиграть тысячу на рубль. И через день на следующих скачках, несмотря на будни, публики было вдвое больше, а в воскресенье через неделю деревянные трибуны были переполнены, игра шла вовсю.

Непонимающая публика стала играть на всех лошадях, даже тогда, когда фаворит бесспорно был непобедим, и на фаворитов поэтому стали выдавать уже по полтине на рубль. Игра для знатоков лошадей стала верным и выгодным делом, ставки увеличились, оборот тотализатора сделался громадным. Затем ввели тотализатор и на бегах.

А единственный виновник успеха гимназист Фогабал – ему другого имени не было – сделался завсегдатаем ипподрома, бросил гимназию, служил некоторое время хористом, а потом окончательно сошел с круга, спился и кончил свою карьеру «подзаборным жучком».

– Да, Иван Иванович, видал я его, этого главного виновника успеха тотализатора, того самого, что и скаковые и беговые трибуны выстроил. Как же, знаю. Все знаю!

– Все, да не все! Во всем этом в первую голову виновник я... Я выстроил эти трибуны, и только я. Я создал азарт, я лишил чести и карьеры молодого человека. Даже человеческого имени его лишил! Превратил в лошадь – Фогабал! Вместо имени у него осталась кличка.

И начал Иван Иваныч изливаться, пересчитывая жертвы азарта.

На глазах у него выступили слезы.

– Один я виновник!

– Успокойтесь, Иван Иваныч! Что вы?

– А вот слушайте! Тогда на скачках, как вы знаете, только что ввели тотализатор. Как вы помните, игра вначале была очень маленькая. И вот, чтобы развить игру, управление скачек щедро раздавало контрамарки. Много их давали хористкам у «Яра» и в «Мавритании», главным образом цыганкам и певцам, чтобы они своих поклонников из богатого купечества приводили. Ну и ходили те, потому что даром билеты получали, хотя проигрывали гораздо больше, чем была плата за вход. Да такова уж натура у купца: ему хоть рвотного, да даром.

Мне присылали на каждые скачки по несколько контрамарок, зная мое большое знакомство. Я раздавал их и сам неукоснительно ходил. Мне это было необходимо даже – оттуда я гостей к «Яру» водил. Так вот в одно из воскресений прислали мне пять контрамарок, а я накануне обещал дать три штуки чиновнику сиротского суда, он рядом со мной на даче жил. За дачу платил сто рублей, частенько обедал и ужинал у «Яра», а жалования получал, хотя и столоначальником был, всего семь рублей в месяц. Оклады были в этом суде все такие с екатерининских времен еще, а чиновники шуровали на сиротские денежки, с опекунов взятки брали огромные. Ну, понес я ему контрамарки – он как раз с женой чай пил, и с ними тут же сидел взрослый гимназист, учитель их детей, зашел получить плату за уроки. Бедняк, круглый сирота, у дяди, хориста Большого театра, жил. Отдал я три контрамарки, а четвертую предложил гимназисту, который никогда на скачках не бывал. Он взял с радостью.

В тот же день я его увидел и на скачках, тотчас после выигрыша. Он сидел у кассы, на

скамейке, бледный и расстроенный. Показал мне деньги. Тут я узнал все и отвез его домой. После этого он запутался, заиграл, сначала в тотализатор, потом в карты. Наконец, попал в сумасшедший дом, пробыл там несколько лет, а на днях опять сюда вернулся. Я видел его третьего дня на скаковом кругу, среди развалин беседки.

Там после пожара лежит – поглядите, любопытно – огромная куча скрюченных изогнутых огнем рельс и железных балок. Эту кучу я не раз видел, а тут вдруг почему-то жуть забрала... Дело было к вечеру... шел я и вдруг услышал из кучи странный, надтреснутый голос.

Жутко стало, а в то же время любопытство одолело. И что же, по другую сторону, увидел я, стоит огромный старик с длинными волосами, с всклокоченной бородой, оборванный, и ревет во весь голос – не поет, а действительно ревет: «Вот мельница, она уж развалилась...»

Вгляделся я и узнал мою жертву – Фогабала!

Подошел. Глаза безумные, лицо бледное,

даже синеватое какое-то.

– Фогабалушка? Здравствуй, милый!

А он поднял над головой руки, потом стал ими хлопать по бокам, как крыльями, и опять заревел:

– «Я ворон здешних мест!» – потом узнал меня и заплакал.

Иван Иваныч снял цилиндр и протянул мне руку.

– Прощайте. Я ему сырку снесу... Он там, в подвале живет.

Иван Иваныч тихо зашагал через шоссе, ни разу не оглянувшись. Только у входа в скаковую аллею остановился, снял цилиндр, махнул мне и тотчас же, двинувшись дальше, скрылся за поворотом аллеи. Это был последний цилиндр, который я видел.

Я продолжал одиноко сидеть на уцелевшей бульварной скамейке против «Яра», этого великолепного храма разгула прожигателей жизни, – роскошного каменного и стеклянного дворца, выросшего из старого деревянного здания одновременно с железными и каменными трибунами, воздвигнутыми на месте старых, деревянных. Иван Иваныч ко-

гда-то говорил: «На мой век хватит „Яра“ и „Стрельны“, – говорил это уверенно, глядя на новый каменный „Яр“, выросший за счет тотализатора. Публика скачек и бегов была постоянной публикой этого ресторана.

Как на службу, являлся ежедневно Иван Иваныч в сверкающий огнями и переполненный щегольской публикой ресторан. Входил лоснящийся, пузатый, гордым и вместе с тем добродушным взглядом окидывал все столы и, направляясь к эстраде, за свой постоянный столик, раскланивался направо и налево.

– Иван Иваныч! Иван Иваныч, к нам! – раздавалось со всех сторон.

И он каждому отвечал, каждого по имени-отчеству называя, и садился там, где компания казалась ему наиболее подходящей. Он везде был желанный гость.

И вот я вспомнил сейчас, когда увидел его в первый раз, почему обратил на него внимание. Обстановка, при которой это произошло, неповторима, как и люди того времени, и стоит того, чтобы описать ее, а происходило все это более полувека назад.



# Примечания

Законодатель мод. Так называли Петрония (автора «Сатирикона») в римском обществе во времена Нерона.

[^^^]